



I

На своих на двоих

Есть ложное представление, что будто бы город убивает чувство природы. Я думаю, напротив: город воспитывает естественное чувство, и если мы называем землю матерью, то город — учитель и воспитатель этого чувства к матери земле. Я бы мог доказать это исторически, проследив, например, в живописи, как возникал интерес к интимному пейзажу с развитием жизни больших городов, но как-то проще выходит, если говорить о своем собственном опыте.

Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился больным и неспособным к работе. Будь у меня крылья, я улетел бы с птицами, будь средства, поехал бы открывать тогда еще неоткрытые полюсы, будь специальные знания, примкнул бы к научной экспедиции. Но не говорю уже о крыльях, не было у меня ни денег, ни полезной специальности. Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я овладел собой и сначала научился путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев — писать о своих путешествиях.

И трудно же было усидеть в Петербурге весной. Бывало, ночью откроешь форточку и слушаешь, как свистят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, журавли, гуси, лебеди — такой уж этот город, окруженный огромными, неосушенными болотами, что, кажется, вся перелетная птица валит по этому рыжему от электричества небу. Бывало, расскажешь про такое что-нибудь в обществе и так этому удивляются. А случилось как-то сказать в бане на Охте:

— Нынче ночью гусь пошел.

Голый человек на это сейчас же ответил:

— То же и хорек в поле подается.

— Как хорек?

— Очень просто, хорек зимует в Петербурге, а весной выбирается в поле берегом Черной речки; вечером, если тихо сидеть, можно заметить: весь петербургский хорек валит валом по Черной речке.

— И, должно быть, тихо ходит? — спросил другой голый человек.

— Не очень; хорек, знаете, такое вещество чрезвычайно даже вонюч...

И пошел, и пошел разговор о хорьках с величайшей, нигде не писанной подробностью.

Раз я слушал, слушал такие интересные мне разговоры, купил себе за двенадцать рублей дробовую берданку, синий эмалированный котелок с крышкой, удочки, разные мелочи и начал путешествовать. С тех пор ни одной весны я не пропустил, и все весны были такие же разные, как посещенные мною края, каждая имела свое лицо.

Все обычные путешествия имеют к моему путешествию такое же отношение, как дачная жизнь к обыкновенной трудовой жизни, потому что добывание по пути средств существования ставило меня в такие же условия, как перелетных птиц, тысячи верст до мозолей махающих крыльями. Конечно, без риска ничего не выходит, и мое путешествие без денег тоже рискованное предприятие, но зато когда одолеешь, то непременно сверх лишений остается, как у матери ребенок, — большая, прочная радость. Помню, я оплавал почти все Белое море и по Северному океану довольно много в России и в Норвегии, пользуясь местными оказиями рыбаков, добывая себе пищу почти исключительно охотой и милостью людей за случайные подмоги. Приходилось ночевать и на лодке, и под лодкой, и на песке под парусом, и раз даже схватить за ногу через дырочку в парусе токующего на мне самом тетерева. И чего, чего только ни бывало во время этого звериного сна, когда спишь и в то же время все знаешь, что вокруг тебя делается. Но никогда я не заботился, чтобы собирать материалы для повести, никогда бы у меня из такого путешествия не вышло ничего хорошего, потому что оно бы не было тогда свободным, и большое великое должно бы подчиниться малому личному. Я заботился только о добросовестном изучении местной жизни, слушал все со вниманием и заносил иногда на лоскутке бумаги (часто на папиросной) интересные мне слова.

Трудно так путешествовать, но что же делать, попробуйте соединиться с ихтиологической экспедицией на Мурман, и вы узнаете жизнь трески, но поработайте с поморами на их первобытной шняке в океане по улову этой самой трески, и вы узнаете жизнь всего края через жизнь трудового человека.

Лицо края

Если бы жизнь пришлось повторять, я непременно бы сделался краеведом, но не таким, какие они есть — ученые специалисты, или энциклопедисты, а таким, чтобы видел лицо края. Многие думают, и этот предрассудок широко распространен, что если изучить край во всех отношениях, и эти знания сложить, то и получится полное представление о том или другом уголке земного шара. Но я думаю, что сложить эти разные знания и получить из них лицо края так же невозможно, как сварить в колбе из составных элементов живого человека. Сколько вы ни изучайте край и сколько вы ни складывайте полученные знания, и все-таки непременно останутся места, наполнить жизнью которые может только простак, сам обитатель этого края. Вот мне и кажется, что настоящий краевед должен исходить не от своего знания, например, какой-нибудь ихтиологии, а от жизни самого простака (я не люблю слово обыватель). Для этого, скажут мне, существует наука

этнография, но и про этнографию я скажу то же самое; живую жизнь она пропускает, для того, чтобы схватить живую жизнь, нужно найти секрет временного слияния с жизнью самого простака; самое трудное в этом слиянии, что его нельзя задумать и осуществлять по программе, а как-то — чтобы оно выходило из всей натуры себя самого. В путешествиях, которые, очевидно, и есть мое призвание, я этого иногда достигал, и думаю, что если нарочно не засмысливаться, то множество людей могут черпать в трудовом опыте ценнейшие материалы. На это мне делали возражение, что для использования трудового опыта должна быть наличность художественного дарования, удел очень немногих. Я согласен, что в известном кругу общества, правда, художественный синтетический дар имеют очень немногие, но в простом трудовом народе, прикосновенном к стихии, он есть общее достояние, как воздух и вода. Есть такая прирожденная у человека способность соединять в своей душе разнородные явления и тем одушевлять и доводить до себя даже мертвые вещи. Если бы у меня сейчас была под рукой книга Федорченко «Народ на войне», сколько бы я мог привести ярких примеров о наличии в простом трудовом народе художественной стихии. Мне приходится дать пример из своих книг по северу, далеко не такие яркие как у Федорченко. Раскрываю книгу наугад и на каждой странице нахожу что-нибудь характерное.

Море богаче земли

Помор сказал: — Море богаче земли. Звери там всякие, рыбы. А мелочи этой и не сосчитать. Солдатики-красноголовики, в шапочках, перед семгой или перед погодой показываются. Да вот еще воронки, вроде как птиченьки, идут, помахивают крылышками. Рак есть там большой, часто лапчатый, хвост короткий, звезды. Идут все по дну моря, перебиваются. Море богаче земли!

Медуза

Изумленные странники замечают подводный кораблик. Я хочу сказать им, что это медуза — животное, но кормщик перебивает меня: — Это морское, тоже буде живое, идет, да помахивает парусом, расширится, да сузится, да вперед и вперед, веслом толкнешь вроде как убьешь.

Морской заяц

Из моря показывается голова. Вода стекает с синеватого лба. Золотые капли блестят на усах. — Зверь, а что человек, — говорит пахрь. — На человека он очень похож, — отвечает моряк, — катары, как рученьки, головка кругленькая. Морской заяц долго плывет за нами, вдумывается короткими умными глазами, так ли рассказывает моряк пахрю о морской глубине.

Детки звериные

— К Трем Святителям бельки родятся, детки звериные.

— И деточки есть у них? — спросила старушка.

— У каждого зверя есть дети, — отозвался черный странник.

— От детей-то нам и главная польза, — продолжал моряк;

— на них не нужно и зарядов тратить, а матерый зверь от детей не уходит, хоть руками бери.

— Куда же от деточек уйти, — пожалела старушка.

— Детей он, бабушка, любит.

— Детей каждый зверь любит, — отозвался опять черный странник.

— Так-то оно так, — ответил помор, — а только мы замечаем, нет жалостливей тюленя.

Человек и человек: и устройство свое, вроде как бы начальника себе выбирают. Из пятнадцати штук один... Головой помахивает, слушает, а те лежат, тем что! Промахнешься в начальника,

сейчас зашевелиются, сейчас в воду со льдины, а те за ним, только бульканья считай. Начальника убьешь пулей, чтобы не капнулся, а тех хоть руками бери. Это от века так, не нами начато, так век идет. Главное начальника убить, он стережет, его забота, а тем что! Лежат на солнышке ликуются*1 парами, что человек. А как родит, так в воду, обмоется, выстанет и лежит возле своего рабенка, и уж никуда от него не уйдет.

— Куда же от деточек уйти, — сказала старушка.

— Да, отползет немного, смотрит на тебя, matka, да батька, все тут лежат, так много, что грязь. Верст на сто ложится, — где погуще, где пореже, и все зверь, все зверь. Тут и реву у них не мало, потому matka в воду уйдет, а он ревит. Рабенок, рабенок и есть, matka на бок повернулась, а он сосет.

Жена ветра

К вечеру море легло.

Помор сказал:

— Так уже не прямая ли гладинка — море. Краса! Вот и поди ты: днем ветер, а ночью тишь. У этого ветра жена красивая, — как вечер, так спать ложатся. Из моря долетает неровный плеск.

— Вода стегают о камень или зверь выстает?

— Вода у камня полощется.

— Краса какая, — жена, жена и есть. Целуются.

Я очень дорожу этими примерами, потому что в них одушевляется самое отдаленное от нас будет живое, а если бы из человеческой взять жизни, то я бы нашел примеры в тысячу раз более яркие. Вот хоть бы следующее, записанное мною у одного искателя правды.

Жатва

— Это бог? — спросил я.

— Нет, это человек, — ответил он, — смотри, нивы побелели, наступает время жатвы, пора человеку пуповину от бога отрезать.

Не я автор замечательного рассказа о тюленях, не сумел бы я сказать так сильно о жатве человек, я только выбирал отвечающее моей душе из массы ненужного. Значит, из элементов художественной деятельности у меня только вкус, остальное все не мое, и я только присоединился душой к общему творчеству, вник и записал. Но если таким простым способом можно добывать великие ценности, то почему же так мало этим занимаются? Почему к жизни подходят со своей малюсенькой, какой-то приват-доцентской темой, а не признают самоценность всякой человеческой жизни и не выслушивают ее признания почтительно, как нечто несоизмеримо большее, чем своя тема? Я думаю, что это происходит от распыления старого мира, в котором мы воспитались.

Разделение прошло так глубоко, что и сам простак говорит на двух языках.

Однажды прихожу я в деревню просить общество уступить для школы участок земли. Один мужичок и говорит:

— Ребятюшки, этот человек пришел поговорить о наших головах.

— Го-ло-вах! — удивился другой. — Что о наших головах говорить, голова и у быка есть.

— Не о брюхе же говорить с вами ученому человеку?

— Я и не хочу о брюхе, а только голова и у быка есть, да что в том, он ею только землю роет.

— Чего же тебе надо?

— А чтобы не о головах, а что в головах. Т

огда я стал говорить о школе, и тот, кто так прекрасно своим языком подготовил успех моей речи, совершенно другим, парадным языком, обращенным не к своим товарищам, а ко мне, образованному, сказал:

— Категорически вам сочувствую, потому как в настоящее время демократизация прогрессивная и все прочее, то я присоединяюсь к вашему заявлению.

Очевидно, человек этот умел говорить на двух языках, на своем природном, и на плохо усвоенном газетном, очень дурном. Наш неестественно отставший народ сохранил природную красоту речи, а образованный класс ее еще очень мало усвоил, и потому в переходных типах бывает такая исковерканная речь, похожая на гной, вытекающий из раненого организма. Это, конечно, пройдет, народ познакомится с литературой по прекрасным образцам, но и литература не может так бросить богатства народной речи, далеко еще не использованные.

Что я говорю о словесности, то надо сказать и вообще о краеведении. Это не художники и ученые творят черты лица своего края, а больше простаки. Этим простакам надо начать сознавать себя в общем творчестве, понимать, что вода моховых ручьев бежит в океан, омывающий берега всего мира.

Я говорю об инстинкте, очевидно мне хочется дать какой-нибудь простор при новом строительстве природному инстинкту, в котором находятся материалы сознания. Мне кажется, что путешествие, передвижение своего тела в новую среду пробуждает первое сознание излюбленного мной простака, и, вернувшись к себе домой, он и тут продолжает путешествовать и открывать новые страны возле себя. Так делают все наши простаки, вернувшиеся из плена, но какую ценой дается им это сознание? С ужасом я вспоминаю те избитые фразы истории, которыми говорятся приятные вещи о том, что человечество приобрело после крестовых походов: побывав в других странах, люди начали видеть вокруг себя, и «дело культуры пошло быстрыми шагами».

II

Пережимка

Закрываю свою пишущую машинку колпаком и по морозцу отправляюсь путешествовать из деревни в город, иду на родительское совещание в школу второй ступени и готовлюсь там выступить с отчаянной критикой и предложить свою краеведческую программу. Славно утопают валенки в молодом снегу, деревенские дети поздравляют меня «с обновкой» и прекрасно называют первый душистый и пушистый снег «дядя Михай». Всего одна верста, и я на огромном кустарно-промышленном базаре. Присматриваю женские ботики и слышу тихий знакомый голос:

— Это не для вас.

Понимаю, это значит не обувь, а «художество», и сделано так, что носиться будет только три дня, знаю, что мастер эти ботики гонит, работая часов по шестнадцати в сутки — прелесть кустарного труда! Базар окружен большими зданиями, в которых размещены всевозможные кустарные союзы, я много о них расспрашивал, но все путаю и осталось только в памяти, что есть союз желтый, есть розовый и красный. В один из этих союзов я захожу спросить ботики, но мне говорят, что есть только несколько пар и то не отделаны, нечего и доставать. Спрашиваю себе подметки.

— Сколько пар?

— Одну.

— Для одной не будем канителиться: приходите в будни.

А в лавке полтора покупателя и человек пять служащих. Нечего делать, иду на базар, смотрю...

— Чего угодно?

— У вас этого нет: подметки?

— Есть, есть! Шепчет мальчику, тот бежит

. — Не беспокойтесь, я после, я найду...

— Пожалуйте, вот они. Конечно, покупаю: мальчика гонял из-за меня. Так-то дела делаются! Скверно, — чем старше становлюсь, тем больше и больше сочувствую кооперативам; и все больше и больше через эту серую лавочку мне сквозит человеческая мирная, хорошая жизнь.

В раздумьи о большом вопросе, почему все это не ладится, — хочу зажечь папиросу и вынимаю спички.

— Стой, стой, — закричал кто-то возле меня и дернул меня за рукав.

— Что такое? — удивился я.

— Акциз, — ответил он.

И, вынув свою зажигалку, поднес к моей папиросе.

— Этот огонь, — пояснил он, — без акциза, зачем платить, когда можно и так обойтись?

И сам закурил от того же самого огонька, противного государству. Разговорились, зашли в трактир чаю попить. Он, оказалось, занимается скупкой ботинок у ремесленников по деревням и уж он-то выберет мне настоящие, только просит, чтобы потихоньку.

— Зачем же потихоньку?

— А вот чтобы не платить этого...

— Акциз? — догадался я.

— Ну, да: поймают, я разорился.

Так встретил я человека, совершенно враждебного государству, но он оказался враждебным и кооперации: он ненавидит кооперацию и уверяет меня, что она никогда не может быть торговой силой и раздувается насильно.

— Потому что, первое, свой карман всегда ближе, я работаю только для своего кармана, а кооператор — для чужого: мое дело успешнее; второе, я служу одному господину, своему карману, а кооператор двум — и кооперации, и своему карману, значит, опять мне способнее; третье, я никому не обязан отчетом, мой карман — мой банк, а кооператор ведет книги; четвертое, если я свой карман сознаю, то я и чужой сознаю, потому я всегда с покупателем любезен и ласков, а кооператору наплевать на вас...

Не могу припомнить дальнейшие доводы кулака против кооперации, их было, кажется, около десяти. Мне было не по себе, не мог я этому человеку из другого мира сказать свои доводы за кооперацию, что сила ее в соединении, что это момент, когда сила вещей преобразуется в моральную силу, ту силу, которой человек покорил всякую тварь и уложил ее у своих ног, силу, которой и я вижу насквозь этого карманника, а ему меня никогда не узнать... Ничего этого я не мог сказать и только сослался на государственную власть, направленную теперь против «своего кармана».

— Ну, да, — быстро и боязливо согласился он, — против этого я ничего не могу сказать и мало понимаю в этом, вот в Германии, слышал, ну, нам-то что в этом?

— Мы должны помогать.

— Почему же другие-то не хотят помогать ей?

— Потому-что просто: у других правительства буржуазные.

— Все буржуазные?

— Все.

— Стало быть...

Он оглянулся, не слушает ли нас кто-нибудь, наклонился ко мне и прошептал:

— Стало быть, эта вещь только у нас, у одних только у нас?

Я ничего не сказал, и мое молчание было принято, как согласие, он моргнул мне и принялся за чай.

— Настоящий чай изволите кушать у себя дома?

— Китайский.

— А мы начинаем опять о морковке задумываться.

— Что так?

— Сами видите, какие дела, и притом, ежели, как вы говорите, эта вещь только у нас, то в недалеком будущем...

— Переворот? — хотел я сказать.

Но вдруг сосед мой сделал страшное лицо, схватил за рукав, я успел только сказать «пере...» и оглянулся: к нашему столику подходил какой-то военный. Мне было унижительно прятаться, я нарочно погромче опять сказал:

— Пере... — ...жимка! — быстро окончил мое слово мой собеседник.

И так вышел не переворот, а пережимка. Обрадованный новому, наверно и самому Далю неизвестному слову, я расхохотался на весь трактир и сказал: — Значит, вас, купцов, опять пережимают теперь посредством кооперации?

— Ну, да, — ответил он, — опять пережимка.

И сам тоже, открыто глядя на военного человека, чему-то расхохотался.

III

Янус

Базарные наблюдения и сопутствующие им мысли еще более расширили и углубили то, что я решил высказать в школе на родительском совещании. Главное, мне удалось себе, наконец, выяснить и решить самое смутное в моей программе место, там, где я говорю о том, чтобы ученый присоединился к творчеству простаков, а простак стал бы сам сознавать себя. Кооперация, казалось мне, должна развязать этот Гордиев узел, потому что она есть момент рождения моральной силы и общего дела. Кооперация добывает материальные средства и перерабатывает их в культурные ценности — вот цель этой серой лавочки. И если это верно, то краеведение, как общее дело, возможно только через кооперацию. И так просто в этом свете кажется и решение смутного до сих пор вопроса о трудовой школе. Мы согласуем преподавание всех предметов

согласно идее кооперативного изучения местного края. И гораздо будет точнее, если мы назовем такую школу не просто трудовой, а школой общего дела... Бесчисленными примерами из своего личного опыта я украшаю свою будущую речь на родительском совещании и мысленно заканчиваю: «Мы не будем фанатиками и оставим слово «мое» для базарного употребления. Пусть те наивные люди делают наше же общее дело, относя его к своему я, мы будем смотреть на это с такой же улыбкой, как смотрим на детей...».

С таким проясненным сознанием вхожу на родительское совещание. Я был тут прошлый год, и трудно рассказать, что в один только год могли сделать два энергичных учителя, Янус первый и Янус второй, так я их называю, потому что оба они произошли от одного существа — двуликого Януса. Янус первый, заведующий школой, взял на себя всю хозяйственную часть, ту часть дисциплины в школе, которая связана с необходимостью принуждения; он наказывает учеников, оставляя переплетать после уроков школьные учебные пособия, выколачивает «добровольные» взносы родителей на экстренные расходы по школе, запирает двери перед носом ученика, если он входит в грязных сапогах; как мрачный дух принуждения, он и живет даже в самом школьном здании, и никто никогда не видел, чтобы он хотя бы на минуту присел — его не любят все ученики и ругают через учеников и родители. Напротив, друг его, Янус второй, заведующий учебной частью, действует только лаской, советом, убеждением, он — открытый враг всякого принуждения и всегда подчеркивает, что взносы родителей на школьные нужды добровольные. Он всегда окружен учениками, дома, в школе, в учительской, и побеседовать с ним без этих свидетелей невозможно — его все любят, все хвалят: и родители, и ученики. В памяти учеников есть одно только темное пятно на светлом лице своего ласкового учителя: была одна неделя, когда этот Янус второй остался без первого Януса и взял на себя хозяйство и дисциплину; говорят, он всю эту неделю кричал и даже будто бы раз жалобно завыл у окна...

Оба друга, действуя согласно каждый в своем, сделали в один год школу неузнаваемой. Прошлый год я видел, как ученики вкатывали в печь трехаршинное полено и, по мере того, как один конец в печи подгорал, проталкивали его дальше; было холодно, дымно, грязно даже в полумраке керосинового освещения. Теперь при входе дежурный мальчик взял мое пальто, подал щетку отереть ноги, от центрального отопления было даже слишком тепло, электричество не оказывало даже соринки. В зале, увешанном диаграммами, работами учеников, за столиком плотно друг к другу сидели Янусы, как два лица одного существа: Янус первый, гладко остриженный, короткоголовый, с крепкой челюстью, и Янус второй, длинноголовый, длинноволосый, углубленный. Из родителей двухсот сорока учеников был только ветеринарный фельдшер, бухгалтер кооперативной лавки, бараночница и десять жен башмашников-кустарей. Остальные места были заполнены учениками, присутствующими на всех собраниях.

— Родители не желают являться, — сказал Янус первый,

— но мы, подождите, сумеем их принудить, если они не желают добровольно, тем хуже для них...

— Я против принуждения, — сказал Янус второй,

— постепенно расширяя сознание родителей, мы заинтересуем их, многие из вас были здесь прошлый год, что вы видели тогда и что теперь...

— Спасибо, — раздались голоса, — осветили и отоплили!

В эту минуту моргает электричество, раз, два...

Первый Янус бросается к телефону, слышно, как он говорит в трубку:

— Не прерывайте тока на сегодня, прошу вас, сейчас у нас родительское совещание, я вы-ко-ло-чу деньги, ручаюсь вам, на-днях все получите, вы-ко-ло-чу...

Собрание открывается вопросом о немедленной добровольной раскладке на родителей платежа за электричество.

— А если не будет сделано добровольно, — говорит Янус первый, — то...

— Добровольно, только добровольно, — вмешивается Янус второй, — мы не можем это сделать иначе, как только добровольно...

Янус второй рассказывает подробно, как они, учителя, чтобы только существовать, берут по десяти, двенадцати уроков в день, как они, кроме того, должны заниматься хозяйством, порядком, почти не видят своего дома, почти не бывают на воздухе, не знают жизни, ничего не читают... Все растроганы, возмущены, ветеринарный фельдшер вскакивает, кричит:

— Принудительно, принудительно, раз мы так не можем, то как Петр Великий, чтобы дубинкой, дубинкой... Бараночница заявляет:

— Я против ничего не имею, только я желаю, чтобы всем равно и без категорий, все торговцы и ремесленники поровну. Башмашница возражает:

— Как же так поровну: мой муж шестнадцать часов в день башмаки делает, он труженик, а вы баранками торгуете. — Мои баранки всем известны, какие мои баранки, а ваши башмаки с фальшивыми задниками.

Янус первый звонит. Янус второй предлагает формулу добровольной раскладки. Все понимают, конечно, что слово «добровольный» чисто официальное, иначе нельзя занести в протокол, но бухгалтер кооперации имеет счета с ветеринарным фельдшером и возражает:

— Здесь заявили о Петровской дубинке, нехватает только милиции, а вы говорите добровольное. Глубоко оскорблен ветеринарный фельдшер, ведь он именно хотел сказать, что Петровскую дубинку должно взять на себя само общество.

— Я сам буду милиционером, — заявляет он, — поручите мне, и я выколочу.

— Не беспокойтесь, — с улыбкой отвечает ему Янус первый,

— нам не нужно ни Петровской дубинки, ни милиции, — я вам обещаю, что деньги я получу.

— Принудительно, или добровольно?

— Не все ли вам равно, запишем, что добровольно.

— Конечно, добровольно, — подтвердил Янус второй.

И записали: добровольно.